

Московские встречи

Рассказ

Р. Г. Назиров

29 апреля 1836 года Александр Пушкин выехал из Санкт-Петербурга, 1 мая переночевал в Твери, а в ночь со 2 на 3 мая был уже в Москве. Он отправился напрямик к своему другу, отставному лейб-гвардии поручику Нащокину, который принял его с распростертыми объятиями. Друзья проговорили до петухов, и на ранней весенней зорьке Пушкин отправился спать.

Нащокин жил напротив Старого Пимена. С трудом развязавшись со своей цыганкой и одарив всю её родню, он получил свободу и женился на премилой и умной московской мещанке Вере Нарской, которая на самом деле была незаконной дочерью одного знатного царедворца. У Нащокиных Пушкин чувствовал себя, как в родной семье. Дом был заново обставлен, сам Нащокин пополнел, казался весел и спокоен. Родная, но полузабытая московская праздность, сладкая и щедрая, казалась раем после чинного, торопливого и туго застегнутого Петербурга; эта привольная атмосфера нащокинского гнезда убаюкивала Пушкина не хуже, чем в детстве — колыбельные песни покойной няни.

Пушкин нередко смеялся над старинной барской Москвой, но он любил эту ленивую распутёху и сплетницу за вольный ум, пробивающийся сквозь пустую болтовню, за широту души и пёструю, азиатскую красочность, которой ему так недоставало в холодном и гранитном Петербурге¹.

3 мая они с Нащокиным попарились в бане, потом напились чаю с ромом и весь день провели в бесконечных разговорах. Обменивались новостями, вспоминали друзей, то грустили, то дурачились, делились шалостями и эпиграммами, не прошедшими сквозь цензурное сито. Пушкин приехал в Москву по делам журнала своего «Современник»: он хотел договориться о его продаже с московскими книгопродавцами да заручиться согласием лучших литераторов старой столицы на сотрудничество в его журнале. Впрочем, на первое место Пушкин ставил иную цель: он собирался порыться в московском Архиве коллегии иностранных дел и надеялся извлечь из этого Архива новые, неизвестные материалы для своей «Истории Петра Великого».

Однако в беседах двух друзей главное место занимал совсем иной предмет, к которому Пушкин возвращался вновь и вновь.

— Так он тебе понравился? — в пятый раз спрашивал Пушкин.

— О Господи! Ты опять о нём! — Нащокин вздыхал и звал казачка. — Сенька, подай огоньку, трубка погасла! Ну да, ну да, я же писал тебе: и умён, и ловок, и от бога мно-

¹Пометка к абзацу на полях: не любил

гое ему дано. Ты знаешь нашу породу живописцев: напяль на них наилучшие фраки, всё будут те же владимирские богомазы, ни ступить, ни молвить не умеют. А он — куды твои Тропинины: un marquis d'ancien régime!

— Рекомендательных писем просил ко мне?

— Ну да, ну да! — Нащокин откинул голову и сделал вдохновенную мину. — «Раз уж государю было благоугодно вырвать меня из моей прекрасной Италии, так, по крайней мере, я должен, comprenez-vous, monsieur Paul, ДОЛЖЕН увидеть единственного великого человека в холодном старом отечестве».

Пушкин расхохотался, но смуглое лицо его покраснело от смущения и удовольствия.

— Едем к нему ~~тот~~ сейчас же! — воскликнул он, вскакивая с дивана и порываясь скинуть свой архалук.

— Как же, как же, — насмешливо возразил Нащокин, — вот только трубка выгорит, обуем чуньки на босу и поскачем.

— Едем, я не шучу! — настаивал Пушкин.

— Ну, разгорелась арапская кровь! Да что ты, братец, белены объелся? На дворе темно, об эту пору его не поймаете. Он, как Бог свят, давно съехала со двора или в спектакль, или на какой-нибудь ужин. Его тут совсем затаскали на ручках. . . Завтра мы его захватим наскоком, сразу по полудни.

Пушкин с досадой сел и заговорил о другом, но уже через пять минут не выдержал.

— Так расскажи мне, как он сбежал от Перовского. . .

— Да я тебе вчор уже рассказывал. . .

— Я тогда уже спал, рассказывай снова!

Нащокин вздохнул.

— Приехал он в генваре, морем, через Константинополь и Одессу, ~~остановился у Дурнова, это его однокашник по академии~~, стал на постой в гостинице, а сам поехал к Дурнову, это его однокашник по академии. Тем часом Перовский нагрнул в гостиницу, велел своим людям забрать все вещи Карла, посадил на облучок слугу его и увёз к себе без спросу. Гостинник попробовал спорить, но Перовский заткнул ему рот червонцем, ~~и назвался чуть не Великим Моголем~~, а к Дурнову послал гайдука с эпистолой: так и так, мол, Карл Павлович, в гостинице вам боле делать нечего, а приезжайте вы на Тверскую, в дом Олсуфьева, да спросите там Алексея Перовского, это и будет ваш дом.

— Bravo! — сказал Пушкин. — Вот это по-московски.

— Что ж, мой милый, лучше Крылова не скажешь: воистину демьянова уха! Карлу на Тверской было понравилось, уговорился он со своим амфитрионом написать три портрета: самого Перовского, графини Лукреции Толстой и ихнего чудо-ребёнка. . .

— И надо полагать, не ради прекрасных глаз графини. . .

— Tu dites! Назывались суммы баснословные, я не верю!

— Ба! — философски заметил Пушкин. — Перовский богат.

— Словом, он взялся с жаром, написал превосходный портрет маленького Толстого, начал писать Перовского, набросал ещё кое-что (мы с тобой съездим посмотреть). Наш общий друг поил и кормил Карла, словно Хозрева-Мирзу, но Москва есть Москва. Дали Карлу обед, Лавров спел экспромт Баратынского. . .

— А ргорос: стихи отличные! — вставил Пушкин.

— А там карусель завертелась: то обед, то у живописцев дружеская жжёнка, то увлекут нашего итальянца в какой ни есть разбойничий вертеп. Сядет Перовский позировать, а тут дзинь! — господин Тропинин пожаловали, Карл бросает кисть, идёт встречать собрата. Уйдёт Тропинин — явится Дурнов. Спроводит Перовский этого, а тут господин Витали. Словом, едва звонок не оборвали, Перовский взбесился и велел всем отказывать. Вот пишет Карл, никого нет, даже скучно стало. . . И вдруг, в театре ли, на бульваре, услышал о себе самом новость, что, говорят, болен, жёлтую лихорадку схватил в Афинах, Перовский консилиум созывает, не сегодня-завтра Тверскую перед домом Олсуфьева будут соломой устилать. . . Карл в великой фурии бросил Перовского и весь его *persicus apparatus*, да и сбежал к Маковскому.

— И ничего не взял?

— Ни даже смены белья! — отвечал Нащокин. — Через две недели он перебрался к Витали, на Кузнецкий, тогда уж Витали съездил к Перовскому и забрал чемоданы Карла.

— А что Перовский?

— Рвёт и мечет.

— Непременно съездим подразнить его. А кто этот Витали?

— Скульптор, Иван Витали, друг Карла. Я знаком с ним.

— Так решено — завтра же едем.

— Сказано едем, значит едем. Сенька, свечей!

— Да вели подавать ужин, — добавил Пушкин.

На другой день друзья отправились на Кузнецкий, где в доме Демидова жил Иван Петрович Витали, известный тогда по большей части своими большими группами для фонтанов. Простоватый малый спросил у Нащокина:

— Как прикажете доложите?

— Скажи хозяину и Карлу Петровичу, что думный дьяк Нащокин привёз им в подарок учёного арапа из турецкой земли.

Слуга остолбенел. Пушкин, хмурясь и улыбаясь одновременно, вывел его из затруднения:

— Отставной кирасир Нащокин и коллеж-ответавной поэт Пушкин — так и скажи, ступай.

Слуга отправился докладывать, и сквозь полуоткрытую дверь гости услышали его запинаящийся голос:

— Барин, вас там спрашивают кирасир Нащокин, привез в подарок Карлу Петровичу учёного Пушкина из турецкой земли.

Раздался хохот, кто-то крикнул: «Проси скорее!» — и тут же, оттолкнув слугу, в прихожую выбежал полный, но очень проворный человек с необычайно красивым и умным лицом, которое енялю-и рдяно пламенело от вина и от восторга. Его прекрасные кудрявые волосы растрепались, а пышный бант его галстука съехал на сторону.

— Какая радость! — крикнул он, подняв руки. — Позвольте мне без чинов. . .

И он кинулся на шею Пушкину.

Пушкин крепко обнял Карла Брюллова. Они были почти ровесники, Брюллов немного выше, но скорее благодаря своим двойным каблукам (он старался прибавить себе росту). От него пахло пуншем и сигарой. Гостей ввели в мастерскую, где стояло несколько статуй и сох под тряпками какой-то невидимый бюст; дым плавал кругами, на колченогом столе стояли бутылки и стаканы. Навстречу Пушкину и Нащокину поднялись художники, один из них был добрый знакомый Пушкина — Тропинин. Гостей с почётом усадили, тут же подали им стаканы с вином, и полилась веселая беседа, в которой огненными блёстками сверкала горячая и быстрая речь Брюллова, а ему отвечала вольная и неожиданная острота Пушкина. Все прочие участники беседы лишь аккомпанировал этому дуэту. ~~Эт~~ Среди художников Пушкин чувствовала себя, как рыба в воде; эти разноплеменные люди самого тёмного происхождения всегда понимали и любили его, и с ними он никогда не вспоминал ни своего камер-юнкерства, ни семивекового дворянства.

Пушкин и Брюллов понравились друг другу с первого взгляда. Вскоре гостей поубавилось, Нащокин поехал в клуб, Витали извинился неотложной работой, и два новых знакомя остались одни. Постепенно разговор их делался серьёзнее:

— Меня поразила холодность русских к имени Пушкина! Что за странные толки, что за высокомерный суд! Можно подумать, их земля родит Пушкиных что ни год.

— Чего же вы хотите, caro maestro, — сказал Пушкин, пожимая плечами, — нет пророка в своём отечестве, никто не велик роуг son valet.

— Отечество! — с горечью сказал Брюллов. — В Италии оставил я и дом, и родину души моей. . .

— И любовь? — негромко добавил Пушкин.

— Знали вы графиню Самойлову? — спросил Брюллов.

— Я слышал о ней немало.

— Если бы не воле государя. . .

— Милый мой, как я вас понимаю! Ещё в позапрошлом году, впервые придя в Академию посмотреть «Последний день Помпеи», я сказал себе: «Вот кисть, понявшая свой век!» Борей раздул щёки свои, и под его дуновеньем замёрзли геспиридские сады. Когда разверзается земля, когда Везувий кропит нас лавою и горячим прахом, преклоним голову и попытаемся спастись. Может быть, наша жизнь понадобится завтра этой великой холодной стране. Chi lo sa? Может быть, минет ненастье, и отгает и ~~этот~~ наш окоченелый, как ледяная статуя, народ, и наш замороженный ~~наред~~ народ век.

— Пушкин, Пушкин! Каждое слово — бальзам для моих душевных ран. Почему мы не встретились ранее?

— Мы проживем ещё много лет и будем видеться часто.

— Ах, Пушкин! Мне холодно в дорогом отечестве, а должно ещё более приблизиться к Борею.

— Петербург не так уж плох.

— Я буду проситься снова в Италию.

— Не сразу, друг мой. Москва показалось вам тяжела?

— Я задыхаюсь от московского вандализма, и никакую лакрима-кристи не запить мне спесивое сало здешнего барства.

— Но всё же вы работали в Москве?

— Un rosj. . .

— Покажите мне ваши рисунки.

— С превеликой охотой, — и Брюллов тотчас поднялся на ноги. Он подал Пушкину руку, помогая встать с дивана, и они сжали друг другу руки, и глаза их встретились с неизъяснимым, тёплым чувством.

Откинув простую ситцевую занавеску, Брюллов ввёл Пушкина в соседнюю с мастерской комнату, которую Витали предоставил в его распоряжение. На окне стояли герани в горшках, повсюду была разбросана щегольская одежда Брюллова, а на кушетке, закутавшись в турецкую шаль, спала клубочком молоденькая натурщица.

— Эй, Чиндирелла Ченерентола! — сказал Брюллов, расталкивая девушку. — Вставай, у нас гость.

Девушка поднялась, протирая глаза, и выскользнул вон.

— У неё красивые бёдра, — извиняющимся тоном сказал Брюллов.

Пушкин улыбнулся.

На столе, заваленном листами и усеянном карандашами, Брюллов разыскал несколько начатых рисунков и стал подавать их Пушкину один за другим.

Пушкин был в восхищении от рисунков.

— Оказывается, у этой замарашки не только красивые бёдра, но и ещё иное, — заметил он, разглядывая рисунок обнажённой натурщицы.

— Натура не столь уж важна, — твёрдо ответил Брюллов, отрицательно качая головой. — Если природа в чём-то обделила её, я рекомпансирую природу. Красота принадлежит воображению художника, а натура лишь кресало, высекающее искру воображения.

— Вот как? — Пушкин поглядел на него с любопытством.

— Вы судите по-иному?

— Право, не знаю. Натура кажется мне прекрасною сама по себе, и мы, артисты, можем сообщить ей ~~лишь~~ единственно живое разнообразие вымышленных форм. Она прекрасна, но слишком одинакова по своему общему выражению. Кисть гения лишь касается её, как

наступает волшебная игра бесчисленных возможностей. Думается мне, что бог сотворил человека, когда у него была несносная хандра.

— Верите ли вы в бога, Пушкин?

Они проговорили дотемна, затем Пушкин уехал, ~~договорившись~~ уловившись с Брюлловым о новой встрече. Вечером того же дня (4 мая) Пушкин писал жене, отчитываясь о визите к Брюллову: «Я нашёл его в мастерской какого-то скульптора, у которого он живёт. Он очень мне понравился. Он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен. У него видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного! невозможно, чтобы он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя. . . »

Пушкин поднял голову и посмотрел в огонь свечей, горевших на столе. Сквозь пламя ему рисовалась голова Натальи Николаевны: как она оборачивается, как она смотрит на него через плечо с выражением благовоспитанного упрека, молча позволяя ему спускать сорочку с её божественных плеч. Он вздохнул ~~жестко~~ и сам над собой засмеялся.

«Мне очень хочется привести Брюллова в П. Б. — А он настоящий художник, добрый малый, и готов на всё. Здесь Перовский его было заполонил; перевез к себе, запер на ключ и заставил работать. Брюллов насилу от него удрал».

Он уже доканчивал письмо, когда из клуба вернулся Нащокин.

— Что так скоро? крикнул ему Пушкин.

— Партия расстроилась прежде времени: двое уехали на бал.

— Ты играл счастливо?

— Выиграл пятьдесят целковых.

— Поздравляю! Сию минуту кончу письмо.

— Кончай, я голоден.

Они опять сидели очень долго. Жена Нащокина давно ушла спать. Говорили о Брюллове, об американце Толстом, которого Пушкин успел повстречать и от которого уже получил приглашение на ужин. Москва уже знала о приезде Пушкина и бранила его за небрежность с визитами. Поэт Хомяков скоро женится на Катеньке Языковой, младшей сестре другого поэта. В клубе Нащокин слышал удивительные сплетни о Петербурге и долго забавлял ими Пушкина.

Они поднялись поздно, но всё же Пушкин успел 5 мая сделать несколько самых нужных визитов. Он посетил престарелого академика Ивана Ивановича Дмитриева, который после смерти Карамзина остался вождём новой школы; опального генерала Орлова. Знаменитого буяна, игрока и дуэлиста Фёдора Толстого, которого некогда Крузенштерн за буйство высадил на необитаемый остров. Теперь Толстому было далеко за пятьдесят, он начал успокаиваться.

Пушкин держался очень любезно с молодой графиней Толстой. Эта больная и мечтательная девочка переводила с греческого Анакреона и сама писала талантливые стихи, но её романтическая фантазия, окружающие её призраки, явные симптомы психической болезни

вызывали в Пушкине жалкое и тяжёлое чувство. Сарре Фёдоровне было пятнадцать лет, она лечилась у гомеопатов, но ей оставалось жить всего два года.

— Ну, Пушкин, как поживает эдемская гурия, которую я тебе высватал? — спросил Американец.

— Собирается подарить миру ещё одного Пушкина или Пушкину, — ответил поэт.

— Как скоро?

— Думаю, через месяц.

— Прекрасно, Пушкин! Ты не даёшь ей лишнего роздыху, умно, умно. Этак и тебе спокойнее.

— Что ты имеешь в виду, Толстой?

— Полно притворяться! Обе столицы знают, что один булочник из Гамбурга готов отдать все свои булки ради её внимания. . . Может быть, ты не знал этого?

— Слыхивал, Толстой. Но жена моя сыта русским хлебом.

— Знаю, знаю. Только, видишь ли, ей нельзя всё время делать мину бегинки, иной раз приходится улыбаться большому булочнику, не так ли?

— Что нужды, это обычное кокетство двора.

— Оно так. Говорят, он с ума сходит от её кокетства и с горя обзавёлся гаремом из театральных воспитанниц.

— Гедеонов сделал театральное училище золотой жилой: он тащит, ему грозят пальцем, он расплачивается морвёзками.

— А Перекусихина в чине фельдмаршала берёт за комиссию с обеих сторон, не так ли, Пушкин?

— Тебе следовало бы застрелить этого сводника тридцать лет назад, — заметил Пушкин.

— Он всегда был очень осторожен со мной.

Этот разговор оставил неприятный осадок на душе у Пушкина. Он возвращался от графа Толстого, погружённый в свои мысли, когда вдруг знакомый голос окликнул его. Пушкин оглянулся и закричал:

— Стой, извозчик, стой! Подожди меня здесь.

Он выскочил из дрожек и дружески обнял плотного лукавого актёра, откликнувшего его.

— Александр Сергеевич! Когда же ко мне загляните, бога вы не боитесь! Неужто разучились ценить настоящих друзей?

— На этих днях буду, Михаила Семёнович!

— Приезжайте вместе с Павлом Воиновичем.

— Непременно.

— Гоголю вы не пишете?

— Нет, но жена может за ним послать. Чего бы вы хотели передать?

— Передайте Гоголю, что мы просим его ради Христа бросить разпроклятый Петербург, где его никто кроме Пушкина с Жуковским не понимает, и поскорее поспешил к нам в Москву. Он должен прочесть нам «Ревизора», без него у нас ладу не будет.

— Канкрин назвал «Ревизора» дурацкой фарсой.

— Пусть колбасник щёлкает на счётах и не вмешивается в русскую литературу. Если Гоголь нам поможет, я ручаюсь за успех в Москве. Здесь его любят, здесь его понимают. Мы сделаем из «Ревизора» злую карикатуру — нечего бояться грязи, коли правда грязна.

— Кого вы будете играть, Михайла Семёнович?

— Натурально, городничего, Александр Сергеевич, кого же еще?

Неподалеку начали останавливаться любопытные: многие москвичи хорошо знали в лицо Щепкина, а по портретам узнавали Пушкина. Поэт пригласил старого знакомого придти вечером к Нащокину, посидеть, поболтать. Отъезжая, он ещё раз махнул шляпой Щепкину.

Москва постепенно затягивала Пушкина. Ему было весело с друзьями, его влекли к себе поднадзорные знаменитости вроде Орловой и старого друга Чаадаева. В то же время он скучал по Петербургу, не мог ничего добиться от книгопродавцев и почти не заглядывал в Архив. Беременность жены тревожила его.

Особенно позабавил его визит к Перовскому.

Тот занимал роскошную квартиру на Тверской и принял Пушкина чрезвычайно дружелюбно.

[Рукопись обрывается на середине листа. Вероятно, рассказ не дописан.]